

**К**

огда я смотрю лучшее из того, что подарено за последние десятилетия Риму и миру нашим телевидением — фильм «Покровские ворота», поневоле вспоминаю точно такой шквал восторга, который охватил в середине прошлого века миллионы зрителей СССР после выхода на экраны «Карнавальная ночь». Наверное, успех обеих комедий был предопределен полным совпадением киношных коллизий с реальной жизнью в середине прошлого века. И каждый человек, причастный к тем веселым и невеселым эпизодам, примерял «сюртук» на себя. В том числе — мой старший брат, Алик. Конферансье. И неважно, что действия и действующих лиц между Москвой и нашим Харьковом разделяли сотни километров. А для главной героини «Карнавальная ночь» — актрисы Людмилы Гурченко (тогда не было понятий «кинозвезда», «гламурная дива») — разве не Харьков был местом рождения и довоенной жизни? Он, «Харків»! А уж потом Москва. О чем Людмила Марковна сама и рассказывала в своих книгах «Мое взрослое детство» и «Аплодисменты».

Алик — тогда лишь юнга эстрады — брал за живое охочую до смеха публику одним своим появлением в портновской жилетке, канотье, в больших, не по ноге штиблетах — маленький, щупленький, с выпученными глазками и приклеенными щучьими усиками... Недаром про-

сживал два-три сеанса в летнем кинотеатре, калькируя в памяти все ужимки, проходы и гримасы великого Чарли Чаплина. И понимал: этот замечательный комик заставляет зрителей смеяться над тем, о чем надо плакать. Мой брат дошел до этого своим умом, потому что с детских лет больше посмотрелся именно горького. Особенно — в эвакуации.

Насколько я знаю из семейных преданий, когда совсем рядом — за мостом у реки Лопань — грохотнула фронтовая канонада, призванный в армию отец все же успел отправить с последним эшелонем в глубокий тыл, как тогда называлась эвакуация, маму с шестилетним Аликом и школьницей-сестрой Шурой. Отходил последний — без номеров и опознавательных знаков сборный состав — уже обстрелянный немцами, а потому с поездной бригадой, получившей некоторый боевой опыт. Пусть и черепашого хода с остановками, когда на каждом километре вносили больных, раненых или подсаживали догоняющих свои части красноармейцев...

— Сынуля, напиши книгу, как мы добирались на Урал. В эвакуацию. Почему никто об этом не пишет? — качая седенькой головой, с мягкой укоризной смотрела на меня зеленоглазая мама. — Боже, боже, сколько всего посмотрелись — и скотского, дикого, но и человеческого, мужественного... Как мы все пережили — двух романов не хватит описать.

— Так расскажи, мам, я запишу, меня ведь тогда и на свете не было. Я что знаю? Одни отрывки из обрывков ваших разговоров. Как на тебя и Шуру напали в уральском лесу дезертиры и отобрали хлебный каравай. Как ты подметала у отца в пекарне ошметки муки да пыли вперемежку с мышиными хвостиками и на каком-то страшно прогорклом масле пекла потом лепешки... Как Алик по доброте своей душевной сбросил с балкона проходящим цыганам отцовский офицерский ремень — или портупею? — и получил от папы такую трепку, что на рев сбежался весь дом...

— Ах, нет, сынок, все это было в последний год войны, когда папа уже вернулся с фронта и вначале командовал пленными немцами, что строили дома в Магнитогорске, а потом работал в Кусе заведующим пекарней. А я говорю про эвакуацию...

\* \* \*

Спасались дорогие мои родственники от нашествия гитлеровской саранчи второпях, только успев прихватить документы, часики да бусики и зачем-то Шурину плюшевую куклу, без которой она спать не могла. Лишь на вокзале спохватились, что ни есть, ни пить — ничего с собой не взяли. Чтоб те оккупанты проклятые подавились, когда войдут в наш дом!

— Ты маме только ничего не говори, не напоминай, опять расстроится, — строго смотрела на меня Шура. — Картина была, правда, дикая. Как вспомню — мрак сплошной предстает перед глазами. Представь: ночь, беспросветно сеет слепой дождь, грязь на запасном пути непролазная, единственный фонарь тускло светит где-то в облаках, холодно, мы с мамой дрожим в летних платьишках, Алик спит, в ее платок укутанный. А очередь то визжит, то гудит, мат стоит сплошной, кто какие-то переключки устраивает, подвыпившие тетки химическим карандашом номера пишут на ладонях, дети бедные задержаны, и все, как манны небесной, ждут появления паровоза. А тут еще кавказцы-мешочники появились, гортанные, нахальные, женщин за все места хватают, похабности предлагают и ржут, как жеребцы. Кто из них половчее — те высматривают в толпе дамочек побогаче — в обмен за ценные вещи хлеб, шпик, сыр и колбасу предлагают. Представляешь? Кто огрызнется или пошлет их — под колеса грозят закинуть. И люди в страхе: такие мордovorоты, действительно, любого на рельсы закинут.

Как, откуда — знать не знаю — вдруг наш папа появляется! И не один, а с боевым патрулем, три человека с ним из военкомата, все с оружием. Я таким страшным нашего папу никогда не видела. Форма сидит, как влитая, фуражка вот здесь, под подбородком, прихвачена ремешком, кобура, сапоги офицерские... Осмотрелся, как гаркнул на толпу, все вмиг присмирели. Патруль по его приказу мешочников сразу же хоп за одно место и в дежурку, или в каталажку, кто знает? Тут же корзины спекулянтов пошли по рукам...

А мы папочку и поцеловать не успели, он к начальнику станции убежал. Успел лишь маме деньги отдать, все, что у него были. И на четыре года распрощались с ним, не знали, вернется ли живым...

Тут уж совсем по-маминому сморщилась, зашмыгала носом и стала всхлипывать начинающая сесть заслуженная учительница русского языка и литературы Скала-Подольской средней школы Тернопольской области. «Заслужена вчителька УССР» Олександра Семеновна, всю жизнь учившая западенских детей языку Пушкина и Толстого и, к счастью, при жизни не узнавшая ни о снайперах на проклятом Майдане, ни об эсэсовском сожжении (в XXI-м веке!) несчастных мужчин и женщин в Одесском доме профсоюзов, ни о том, что еще натворили эти нелюди — неужели бывшие ее ученики? Те, которые высунув от старания язык, писали на экзаменах сочинения о «Молодой гвардии», Алексее Маресьеве, Зое Космодемьянской. Кто после уроков готовил в своих классах стенды памяти «выдающего» (выдающегося) украинского письменника Ярослава Галана, без страха и упрека обличавшего гиммлеровских выкорышней — Бандеру, Шухевича, Мельника — и вообще всю кровавую бандеровщину. Настоящего антифашиста, принявшего мученическую смерть уже после войны, в 1949-м, от рук бандитов-оуновцев, зарубивших ненавистного им писателя-публициста в его львовской квартире палаческим гуцульским топором...

— Шура, а вот еще мама рассказывала, как вы отстали от поезда?

— Ужас! Мама постоянно оберегала нас с Алькой и сама страшно боялась подхватить вши. Где увидит вокзальный титан, туда бежит с эмалированной корчажкой — прихватить горячей воды, разбавить и нас ополоснуть, хоть как... Подполз эшелон к реке Белой, приткнулся где-то под насыпью. Слух пополз — до глубокой ночи, мол, стоять будем, чтобы в темноте немец состав не разглядел, не разбомбил. Женщины малых детей скорее подмышки и бегом к воде — обмыть, помыть, самим в кустики сбегать... А семафоров никаких нет, а гудки паровоз не дает, потому что состав военный, по своему расписанию стал, командовали — отправился. О, Боже! Колеса кляцнули... Алик... Я... Мама мечется. Уж не знаю, как мы забрались на ту насыпь, как вдогонку бежали... Чи (или) (Шура, волнуясь, часто вот так вставляла в русскую речь украинские словца и междометия) машинист из своей будки нас увидел и сбавил ход, чи кто из военных выскочил, помог нам заползти в последний вагон, но влезли. Заползли. Пол замурызанный были готовы целовать. По гроб жизни мы тем добрым людям обязаны...

— А ели-то вы что? Кормили вас, эвакуируемых?

— Да, что-то такое изредка давали — селедку, помню, хлеб. На станциях народ местный картошечку выносил, свеколку вареную, брюкву, яблоки. Но в основном маленький наш конферансье, Аля, еду зарабатывал...

— ?

— Да вот так. А ты думаешь, как рождаются таланты? В голоде, холоде и муках, — откинув каштановую прядь со лба и смеясь совсем по-девичьи, возвращалась через полвека в лето 1941-го моя сестра. — Правильно мама тебе говорит, пиши о нас книгу!

Лично я и сейчас толком не знаю, как правильно назывался тот товарный вагон... Товарняк? Загон? Теплушка? Дымная, душная клетка, пропахшая куревом, мочой, заскорузлыми бинтами и потными солдатскими обмотками, калом и кровью, заставленная впритык санитарными нарами... И посередине прохода, на крохотной импровизированной сцене переминался в стоптанных сандаликах с ноги на ногу маленький, щупленький, зато чисто вымытый и причесанный на пробор мой шестилетний брат в застиранной кофточке-матросочке, в чулочках до колен, со штанцами на ляпочках, распевая во всю силу детских легких:

Эх, махорочка-махорка,  
 Подружились мы с тобой!  
 Вдаль дозоры смотрят зорко,  
 Мы готовы в бой,  
 Мы готовы в бой...

Вскоре после бесславной советско-финляндской войны, деликатно названной Твардовским «не знаменитой», после той псевдобитвы, горько, жгуче, как махорочный дым моршанской «Примы» показавшей всю слабость нашей примитивной древне-ружейной «мощи» перед современной атакующей линией и грамотной оборонительной тактикой Маннергейма, в 1939 году была написана эта песня Константином Яковлевичем Листовым и Михаилом Исааковичем Рудерманом. Финской войной, еле-еле законченной перемирием, гордиться не приходилось. Гордиться можно было другим: у венгров просиял замечательный композитор и музыкант Ференц Лист, у нас — знаменитый композитор и музыкант Константин Листьев! Создатель сотен и сотен замечательных оперных арий, оперетт, песен, которые пела вся страна. Лист и Листьев... Как созвучно! И не случайно. Ничего случайного вообще не бывает ни в музыке, ни в жизни, все закономерно, все решено высшей силой... Только нам знать не дано наперед о том, что будет.

В прокуренном санитарно-эвакуационном вагоне бойцам-красноармейцам, особенно старшего возраста, участникам недавней финской кампании, песня о махорочке-махорке пришлось, как нельзя, кстати. Исполняемая не под звуки рояля пионерским хором и не под духовой оркестр знаменитым Вадимом Козиным, а капелла веснушчатым пацаненком, она встречала полное понимание и сочувствие. Да еще так старался этот лупогазенький малыш, тщательно выпевая каждое слово!

Как письмо получишь от любимой,  
 Вспомнишь дальние края,  
 И закуришь — и с колечком дыма,  
 Улетает грусть твоя...

И в ладошки он прихлопывает, и ножками притопывает, и раскланивается до полу, ну, Леонид Утесов! Как такому артисту не подарить брусочек пиленого сахара или горбушку хлебушка? Как не прижать к себе, не погладить по детским волосенкам, когда такая тоска берет: у кого в Смоленске или в Воронеже, у кого в Полтаве или в Барановичах такой же малец остался. И не один, а с братишками-сестренками... Как они там? Живы ли? Хотя бы через этого их ровесника — Алик тебя зовут, да? — привет незримый в свой город иль деревню передать... Авось долетит, услышат...

Алька снисходительно улыбался каждый раз, слушая прижизненные легенды о себе. Что было, то было. Он тоже кое-что помнил. И всегда говорил, что мама наша — святая, сумевшая без отца, без всякой помощи, без опоры спасти его и Шуру в той жуткой уральской эвакуации. Переселении в глубокий тыл.

Но чаще почему-то вспоминалось моему брату не страшное, а смешное. Пусть это был смех сквозь слезы. Ну, например, как он сумел отомстить за сестру мальчишке-обидчику, прыщавому переростку, втихаря оторвавшему Шуриной кукле и ручки, и ножки... Жаловаться маме на злого дылду мои старшие брат и сестра не стали; не приучены были скулить и ябедничать, папа кляузы не жаловал, учил: око за око, зуб за зуб. И Алик притих, затаился, выжидая удобный момент, чтобы поквитаться с паршивцем. И такой час пробил. Ровно в конечном пункте путешествия поневоле.

Все дети тогда таскали за спиной свои личные горшки для оправления необходимых нужд. А как иначе? Куда ходить-то? О домашних унитазах в ту пору широкие массы никакого понятия не имели. Все удобства, пожалуйста, в дворовом скворечнике, зимой и летом продуваемом всеми ветрами. Что такое писсуар и унитаз, знали разве что в Кремле, Париже, а еще — предводитель английских лейбористов, вечно пыхтящий сигарой, огромный, как шкаф, британец Уинстон Черчилль и передвигавшийся по Белому Дому на инвалидной коляске президент Соединенных Штатов Америки Франклин Делано Рузвельт. А у нас, чтобы в туалете курьерского «Пятьсот — веселого» стояла фаянсовая «виолончель»? Да вы что! Да вы кто? Буржуи, что ли, недорезанные?

Утратить горшок для ребенка было трагедией. С ним — эмалированным или глиняным, плохо покрашенным — ходили везде и всюду. Поставив «ночную вазу» под ноги, садились за обеденный стол. С милым дружком спали, поместив его к себе как можно ближе. Хоть в изголовье.

Вот за все понесенные в двухнедельном пути обиды — щипки, пинки, щелбаны, дразнилки, плевки, растерзанную куклу — за выплаканые сестрой слезы и не выплаканые братом страдания Алик, когда толпа валом валила на выход, так приложился тяжелой створкой вокзальных дверей к заплочному богатству жестокого обидчика, что у того только глина в его вещмешке хрустнула.

Торжественным меццо звучало в душе моего брата громогласное рыдание штрафника, сурово наказанного по законам военного времени. А как иначе? На войне, как на войне, будь, воин, бдителен вдвойне: или ты его, или он тебя. Третьего не дано. Война учила детей и такой науке.

Одну интересную деталь заметил я в поведении самых близких мне людей: когда в разговор вступала Шура, мама сидела, притихнув, вслушиваясь в каждое слово дочери. И только время от времени с удивлением покачивала головой, словно речь шла не о ней, а о каком-то ее прототипе, не имеющем к оригиналу никакого отношения. Впрочем, я это замечал у многих пожилых людей.

В сознательном уходе стариков от самих себя в сторону кроется многое: и преклонение перед образованностью любимых чадушек (чего им, родителям, не было дано), и понимание того, что молодые расскажут все понятнее, четче, яснее, чем они, без отклонений и перескоков, и осознание нового времени. Времени, в котором дети чувствуют себя, как рыбы в воде. А старшему поколению необходимо чаще выплывать на поверхность, глотать кислород, потому что длительное нахождение в поменявшей смысл и конфигурацию, ставшей вдруг непривычной бытовой среде, оно не выдерживает, задыхается...

Шура в лицах и манерах рассказывала мне про самый тягостный, самый тяжелый эпизод в той эвакуационной эпопее... А мама, расположившись в сторонке, твердо пообещав не вмешиваться, не переживать, не плакать, сидела на привычном стульчике от нас поодаль, не поднимая глаз, низко, как от удара, склонившись и постоянно раскачиваясь. А потом вообще вжалась головой в колени. Еще бы — такие жалащие угли ворошились в душе...

— Ты не представляешь, в каком мы с Алькой находились радостном состоянии, скорее, даже возбуждении, — поглядывала на маму (как себя ведет?) Шура. — Жуткая дорога осталась позади, мы прибыли, наконец, в обещанный Челябинск. Сейчас приедем на трамвайчике к маминой сестре, нашей тете, там нас вкусно накормят, помоют, дадут чистое белье, ляжем в теплую постельку... Мы быстро освоимся на Урале, я пойду в школу, Алик найдет новых друзей...

Так нам мечталось!

А на самом деле встретила харьковчан мамина сестра — заведующая закрытым распределителем, нет, правильнее сказать, ОРСом, отделом рабочего снабжения... («Это было золотое дно!» — не выдержала, вмешалась в наш разговор мама, тут же осекшаяся под вострым взглядом дочери-учительницы)... Встретила вновь прибывших тетя Мотя, подбери свои лохмотья, настороженно. Без объятий и поцелуев. Даже на порог не пустила. Беседу вела перед своими дверями на лестничной площадке — с благотворительной подачкой гостям буханки хлеба.

— Обожди, Шура, стоп! Неужели? Это же с ума сойти! Ведь, насколько я знаю, мама наша чуть ли не в неполные пятнадцать лет начала батрачить в какой-то прачечной, чтобы сестра могла учиться в институте торговли. Семья у них была большая, всех не прокормить...

— Я тебе больше скажу, — перешла на полный шепот Шура. — Мама наша осталась почти неграмотной, потому что всю жизнь вкалывала на их семью то в прачечной, то нянечкой по найму, чтобы одна ее сестричка драгоценная стала на суконной фабрике инженером, другая — вон, торгашом, начальником ОРСа. А они ее отблагодарили. По-черному! Наглость — второе счастье.

— Боюсь, Ленка, и ты, и твои киндеры (тетя Ава небрежно кивнула на испуганно жавшихся к маме детей, ее родных племянников), боюсь, все вы там, в товарняке, пока ехали сюда, крепенько завшивели. А у меня в доме прожарки нет. Так вы вот что. Давайте-ка я вас отправлю в эвакуопункт на Соборную, там все процедуры пройдете. Вас оформят по всем правилам, ну там, распределят. Детям, а к нам и маленьких ленинградцев попривозили, белый хлеб и компот в буфете дают (мы чуть слюной с Алькой не подавились, услышав о таком сладком счастье).

— Хотя, почему, собственно мне идти? Нема! Ну-ка, бекицер с дивана, давай, давай, пузанчик мой, живо! Подтяни шлейки и проводи моих... — она запнулась, не зная, как назвать «моих-то», — на Соборную.

Нехотя сползший с дивана подслеповатый муж тети Августины — ценный кадр для оборонного завода в силу недюжинных конструкторских способностей — нехотя подтянул шлейки, повздыхал, позевал, нехотя покидая уютную комнатенку, выделенную ему под кабинет. И нехотя потопал впереди неожиданно свалившегося ему на голову харьковского семейства, с которым он и поздоровался-то нехотя, через губу.

Зато, подведя «моих-твоих» к мрачному зданию эвакуопункта на улице Соборной, бежал оттуда прытью, как подстреленный заяц. Не удосужившись и на полчаса подзадержаться, узнать, как и куда распределят родственников жены. А за чем это Неме, в миру Науму Львовичу? Ему своих хлопот хватало.

— Шуронька, но ведь он потом какой-то орден за изобретение свое получил, — слабо пыталась защищать дальнего родича мама. — Его уважали!

— Ага! Получил! Сидя на диване. Ух! Недаром им с Авой господь детей не дал. Бог шельму метит...

Мамины губы непроизвольно дергались в безмолвном протесте: «Шуронька, доченька, ну что ты такое говоришь? Нельзя уж так-то. О Науме Львовиче писали газеты, мало ли, что лежал на диване... Он дома работал, при его-то зрении. А в цеха чертежи передавал. Ордена даром не дают...»

Папа, яростно натирая щеки одеколоном «Шипр» после бритья опасной бритвой и слушая в очередной раз сагу о Неме, кисло скривился: «Ну, что вы заладили? Нема, Нема... Ну, был он специалистом по дизелям. Дальше что? Война закончилась, теперь сеялки-веялки конструирует? Молчит всегда, как баклан, и к тому же не пьет. Это что за человек?»

Короче говоря, даже такой заслуженный орденосец с Урала, как дядя Нема, не был для отца авторитетом. Значит, и для детей был он полным олухом, и мы частенько смеялись, воспроизводя теткин визг: «Нема, подтяни шлейки!» Сегодня понимаю: ничуть не красят нас такие смешки и такие оценки. Можно было бы о них все и не поминать. Но утаить вообще можно многое. Только зачем тогда писать книги, если все они — изучение опыта поколений, от которого или залива-ет краска стыда, или полыхает румянец радости. Может, я не прав? Тогда рассуди-те нас, люди!

\* \* \*

Как и многие, если не сказать все, фронтовики, отец никогда ничего не рассказывал о войне. Разве что редкими эпизодами — в чайной, например, после ста граммов с прицепом, в кругу таких же его друзей, прошедших огонь, воду, медные трубы и чертовы зубы. И то — все разговоры: «Помнишь, как под Купянском мы отступали...», «Помнишь, как после Курска мы наступали...» «Отступали — наступали» — и больше никаких подробностей. Хотя, выйдя на пенсию, пытался наш папуля какие-то записи вести. Обычной ученической ручкой, как в хедере... Нашел я в его бумагах пару листиков, исписанных по диагонали, но разборчиво. Видно, крепко саднило у отца в душе, если сразу, по горячим следам, сел он тогда за «мемуары».

«Дети старших классов осмелели, разговорились, задавали такие вопросы, о которых я и не подозревал. Надо же! «Какое самое горькое чувство оставила у вас война?» Что я мог им ответить? Как мы прятали глаза, когда, отступая, покидали со своими сорокапятками Горловку, Бахмут, Макеевку, и старики, старухи, что стояли вдоль улиц, плевали нам вслед, кричали: «Что же вы нас фашистам отдае-те, защитники!» И горько плакали, и проклинали. Да и мы плакали, посильнее впрягаясь в лямки орудий и помогая лошадям тащить наши пушки.

Или о том, как я пер на себе шесть винтовок, брошенных дезертирами. Одного из беглецов в Спадщанском лесу, когда заняли мы глубокую оборону, патрули поймали, на батальонном построении поставили к стенке, чтобы, значит, никому больше неповадно было драпать с поля боя... А мы молчали весь тот вечер, и потом, как будто ничего не видели и не слышали. А еще один хмырь, трофим (так и написано отцом его имя, с маленькой буквы) — спас шкуру, уцелел. Я его видеть не хочу, хотя он жив поныне. Благополучно просидел всю оккупацию в подвале, даже успел своей жене сына заделать. А в сорок пятом, вот ведь прохиндей такой, как-то примкнул к Победе, юбилейную медальку схлопотал. Стал известным кондитером, по радио передали, его за оригинальный торт сам Щербицкий похвалил в перерыве партийного съезда. Ого! — первый секретарь Украинской компартии...»

Я знаю, живя в одном большом дворе, мой отец и тот... кондитер с маленькой

буквы, никогда при встрече не раскланивались. Проходили мимо, глядя в разные стороны. Хотя им было что вспомнить. И кое-кому кое о чем припомнить. Сыну кондитера, неповоротливому Юрке, я на волейболе разок мячом так в табло вмазал, что его с площадки под руки вели. Да, понятно, сын за отца не отвечает. И все же...

Но я просто не представляю, чтобы мой отец пошел в органы стучать на Трофима — своего соседа поневоле. «Хай живе Радяньска Украина!» И пусть до конца своих дней мучается угрызениями совести, если у него она осталась, несостоявшийся однополчанин. Это будет ему похлеще трибунала.

Так, наверное, рассуждал наш отец. Призванный в свои 40 лет повесткой на фронт в июле сорок первого и провоевавший командиром артиллерийского взвода на Первом Украинском фронте до марта сорок пятого. Пока не получил на братской польской земле второе осколочное ранение, заметно укоротившее ему левую ногу. Вот и был он за три месяца до Победы списан подчистую, поскольку обе раны плохо затягивались, не заживали, и он уже после демобилизации какими только снадобьями не лечился, какие мази и натирки не применял... В бане всегда просил меня не шоркать ему сильно рогожной мочалкой по спине — кость под лопаткой оголена, больно. А мама покупала по знакомым смалец, свиной жир, потому что и с легкими у отца стало неблагополучно, загуляло по нашей квартире злое словечко «туберкулез» — наследие Моховских фронтовых болот. И все знающая соседка наша заявила, что вылечить какие-то «каверны» можно, только затягивая их свиным жиром, смальцем. Лучше даже завести своего поросенка, чем переплачивать втридорога чужим людям-знахарям и торговкам на рынке. К стати, как ни странно, ее советы помогли! Я листал отцовскую медицинскую книжку «до» и «после»... Никаких следов бывлой хвори не осталось.

А что касается отцовских откровений, то все же произошел один такой случай, когда приоткрылась завеса о подлинной войне, войне «без помпы и оркестра», войне во всей ее отвратительной наготе. Как кровавой бойне.

Мы тогда с Алькой, Сашкой Ярмаком и еще двумя соседскими мальчишками разводили на задах опустошенного сентябрьского огорода большой костер — кострище. Даже два костра. В золе одного, маленького, пекли найденные в борозде картофелины. Вкуснее них — с твердой корочкой, обжигающих, посыпанных крупной серой солью — нет ничего на свете, кроме подобранных с грядок помидоров — крупных, с нежной розовой мякотью, зернистых... Обалденно аппетитной еды с ломтями свежего ржаного мандра (хлеба по-пацански) и, если повезет, кусочками сала...

В большой ненасытный костер, поправляя палками бушующее пламя, мы, обгоняя друг друга, торопились подбрасывать все, что попало. То есть сыроватую ботву, сухие огуречные и тыквенные плети, обломки старого штакетника, вырванные с корнем лопухи, репейник, крапиву, подсолнечные будылья, хворост, мокрую после дождя щепу с гнилого сарая, мох, опилки (у нас они назывались «тырса», и я долго так опилки «тырсой» и называл, недоумевая, неужели их можно называть как-то по-другому?).

Костер дымил, чадил, взрывался синими, черными, оранжевыми искрами, а мы, взявшись за руки, водили хоровод, горланя тут же сочиненную песню про жирного пороса, которого забьют и вот-вот будут опаливать на костре. Не очень приличный получался наш экспромт, поэтому лучше его опустить; то, что годится для казармы — не означает, что годится в светском обществе (это я сейчас так умно говорю, сожалея, что не был тогда таким умным).

Очень удачно складывалось то воскресенье с самого утра: нет обязательного подъема в самый сон, нет школы, нет домашних заданий и любимых учителей, а есть на завтрак чай с рафинадом, сырники со сковороды, приготовленные хлоп-



тугнейшей мамой с утра на террасе и свист пацанов под окном: «Валерка, вый-дешь?» Есть папа, уже тщательно выбритый, наодеколоненный. Внимательно просматривающий виниловые пластинки с Клавдией Шульженко, Георгом Отсом, Марком Бернесом, прежде чем поставить их на диск радиолы «Латвия». И есть с вечера красиво побеленная мамой и Шурой летняя кухня с выскобленными полами, где сегодня будет праздник свежины. И где уже нетерпеливо ерзает на табуретке, поджидая Семена, его верный фронтовой друг. Одноглазый возчик («Я не извозчик, я водитель кобылы», — как поет Утесов) дядя Коля Ярмач. Артиллерист из отцовского взвода, лишившийся глаза тоже в том их последнем бою под Бреслау. Это Николай Иванович и посоветовал накануне отцу отослать под благодарным предлогом ребянтю подальше, чтобы не видели они ристалище с забоем скота.

Братья по судьбе, братья по борьбе, подзарядившись на кухоньке, как перед атакой, наркомовской дозой из одного граненого стакана, запив самогонное зелье тепленьким и свеженьким сырым яичком, пошучивая, подначивая друг друга, отправились в затянутый столетней паутиной полутемный сарай, служивший также складом для хранения угля — антрацитного «орешка» и поленицы дров. Толкаясь, оскальзываясь, чертыхаясь, падая и привставая, чуть ли не час целый гонялись они за пятипудовым кабанчиком, надрывно орущим перепуганным курам: «На помощь, дурры, убивают!» И бился седоволосый хряк с двумя крепкими мужиками, как гладиатор, до последнего, пока не выдохся, задрав кверху ноги, тут же скрученные белевой веревкой, и прощально хрюкнув. А куда ему, пусть не хилому, было дальше сопротивляться против трофейного оружия — остро заточенного фрицевского кинжала из крупновской стали, махом вонзившегося в нужную точку...

— Добрячего порося вы с жинкой видгодувалы, — пыхтел Ярмач-папа, подтаскивая с нашей помощью тушу кабана к костру — опаливать на соломенной подстилке щетину. Он все умел, водитель кобылы с овощной базы Николай Иванович Ярмач. Мастеровой человек, одинаково сведущий и по слесарной части, и по столярной, и по стройке, и по забою скота. Эх, если бы не война! Да если бы не убежала, осталась с ним гулена-жена, бросившая ради богатого хахалы из Молдавии (так судачили бабы) и своего мужа, и сына...

Быстро-быстро разделявая внутренности недавнего гладиатора из темного закулка, дядя Коля — единственный глаз азартно горит, как у барышника-цыгана, резиновые чеботы забрызганы от пят до верха голенищ тырсой, липкой глиной, сенной трухой — зажав в уголке рта потухшую цыгарку, отдавал краткие и внятные указания отцу, мне, Алику, своему сыну Саньке:

— Семен! Це жинци виддай, гарный шматок, нехай кендюх готове...

— Оце, — протягивал нам с братом окровавленную руку с какой-то вонючей требухой дядя Коля, — давайте швидче цибарку (ведро), выкиньте, хлопчики, на помойку. — Нехай це добро собаки идять.

— Сашко, де ты? — ловко кромсая хребет хряка, подзывал он сына. — Кидай, Сашко, оцей кусманчик в нашу торбу, мы його додому визьмемо...

Заключительное «це» или «оце», одинаково означавшее «это», прозвучало насчет увесистой свинной печенки, годившейся для быстрого приготовления в печи на летней кухне. Как раз за то время, пока мы с Сашкой смотаемся на его велике в ближний продуктовый магазин отовариться двумя полулитровками «Московской» для наших доблестных отцов. И двумя бутылочками ситро — для себя. (Ах, какой мы пили тогда лимонад — настоящий, пускающий радужные пузыри и кремовую пеночку в чашке, плоске, стакане!)

И вот, когда старые артиллеристы приговорили под парующую свежину первую злодейку с наклеивкой и неспешно приступали ко второй, у них и возник пла-

мennyй солдатский спор. Без громкой ругани, без крика, но увлекший спорщиков настолько, что уже ни на снующих рядом туда-сюда пацанов, ни на тревожно поглядывающую в их сторону маму внимания они просто не обращали. А нам слушать накаленные речи взрослых — да это же такое удовольствие, как костер палить: ушки на макушке — только этого и надо!

Но вначале отцы помянули, не чокаясь, отошедшего в мир иной некоего комбата Сиротихина, видимо, всеобщего любимца, жившего после войны на родине космонавта Юрия Гагарина, в Гжатске. Затем вполголоса бывший взводный и бывший рядовой прошлись по жулику — старшине Трегубову, которому в санбате хотели да не успели морду за воровство начистить — вовремя соскочил он со своим легким ранением...

Потом захмелевший дядя Коля спел то, что пел всегда при каждой дружеской встрече отцов: «В строю стоят советские танкисты: начхим, начпрод, начфин и рядовой!..» А следом оба артиллериста, покурив, перешли на более близкую им тему. О праве на владение той самой немецкой финкой, которой утром был повержен четвероногий хрюндель Борька.

Трофейный зазубренный финаш был недоступной мечтой всей ребятни с окрестной Пролетарки! Мечта мечтой, а нашему дому он реально достался, этот тяжелый эсэсовский кинжал с красной рукоятью и черной свастикой на эфесе, чья история появления оставалась, правда, неизвестной. То ли взято было холодное оружие у врага в жарком бою, то ли мирно конфискован был кинжал в Магнитогорске при шмоне бараков, где проживали пленные немцы-строители. Хотя какое это имело значение в тот полуденный час сентябрьского воскресенья, когда вороненое лезвие было спокойно воткнуто ровно в середину кавуна (арбуза), занявшего все блюдо на цветастой клеенке летней кухни, где проходила трапеза богов войны — артиллеристов.

Что-то кто-то из отцов, скорее всего, наш, нечаянно заговорил про твое-мое, и не чипай (не трогай) чужого...

— Шо? Ты шо, Семен, забыв, як тебе той фриц душив? — перевесившись через край стола, вдруг вознегодовал дядя Коля Ярмач, крепкими жилистыми руками изображая страшную картину рукопашной. — И хто тебе тоди спас?

Осоловелые после утренней браги да обеденной водки папины глазки никакой вражды не выражали, напротив, свидетельствовали только о миролюбивых намерениях.

— Опять двадцать пять. Да сядь же ты, наконец, Николай!

— Не, ты той... Ты волю яйца не круты! Кажи, зараз же, забыв чи не забыв?

— Да как такое забудешь, Коля! Правда ведь, душил он меня, как медведь...

— Ну? И шо б з тебе було, як бы не я?

— Коля, друг мой дорогой! Да если бы не ты тогда со своим штыком — хана бы мне пришла! Я ж хрипел уже, концы отдавал... А ты ему прямо в глотку штык засадил, у меня вся морда в его крови была...

— Ну! Так чия оця финка, кажи, моя чи твоя?

— Да твоя, Николай, твоя, бери! Только давай еще по одной нацедим, да? И я тебе одну вещь скажу. Никогда не говорил, Коля, ни-ког-да, а сегодня скажу. Скажу, как есть, ты меня понял?

Ярмач утвердительно кивнул головой; понял, мол, понял, что же тут непонятного.

— Кажи! (Говори!).

Отец набулькал водку в граненые всклень, по самый венчик. Привстал. Поднял стакан, трезво взглянув на нервно жующего зеленые перья лука друга.

— Слышь, Николай! Когда ухватил меня тот гад за кадык своими клешнями, я крик услышал. Жены Лени! У меня перед глазами красная пелена качается, а в

ушах звон слывет: «Сеня, домой!» И как я успел вывернуться, да зубами его, вот так, вот так вот, зверски, уцепить за ладонь, впиться, кусануть по-волчьи, он аж взвыл. А тут и ты, Коля, рядом... Спаситель мой! Дай «пять», дай я тебя обниму!

Сыпанули мы с пацанами от стен летней кухни, словно спугнутые воробы. Нельзя было дальше оставаться, глазеть, как припали друг к другу седыми головами и вздрагивают плечами два старых бойца. Легко отодвинувшие на край стола стаканы с водкой. Пачки папирос. Арбуз. Свежую закуску. Но бессильные отодвинуть от себя подальше нахлынувшие воспоминания. Как их не гони, как не старайся забыть...

\* \* \*

А брат мой, Алик, стал в своем студенческом театре конферансье! Это уже в то время, когда правил страной огромной главный кукурузовод Отечества — лысый, как бильярдный шар, дорогой Никита Сергеевич. Неуч из совпартшколы, велевший засеять добрую половину всех пахотных земель России кормовой культурой, впечатлившей его на американских плантациях внушительными початками и полюбившейся чуть не до смерти,

При некотором наплыве оттепели, потеплении внутреннегo климата после тридцатилетнего сталинского льда, особливо-то с юмором и сатирой все равно было не разгуляться, слышите, кавээнщики, для которых сегодня запретных тем нет. Даже такие мэтры эстрады, как Миров и Новицкий, кроме безадресных «блям-блямчиков», ничего нового продвинуть не могли. Что уж говорить о провинциальных аутсайдерах комического цеха... Сатира выше критики язв империализма, о которых и не подозревали жирующие акулы капитала из города «Желтого дьявола», несчастного управдома и сосулeк на крыше не поднималась. Вспомните те же «Покровские ворота» и квелые стихата доморощенного поэта, сыгранного Моргуновым... Хотя, нет! Были еще как бы убойные адреса: российский сатирический журнал «Крокодил», белорусский «Вожык» («Ежик»), татарский «Чаян» («Скорпион») и украинский «Перець» лупцевали, изощряясь, пьяниц и добродушно посмеивались над тещами.

Алик тоже выходил на сцену «обличать» и пел «злободневное»:

Вот апрель, и наступили дни весенние.

Снова крыша потекла у нас,

И пишу я управдому заявление

Вот уже, наверно, в сотый раз...

Общежитье дать студенту обещаются

Вот уже, наверно, в сотый раз...

Я уже хотел дать газу, да примчался управдом,

Стукнул, гад, меня три раза

Старым мусорным ведром...

Вот такие звучали перлы. А потом родился парный конферанс: Алик стал выступать вместе с Сашкой Ярмаком, что подсказала им Шура. Но тематика и для дуэта осталась прежней: «Наша крыша — планетарий, в небе звездочки видать»...

Выручало «соколят» не слово, а внешний комический парадокс. Форма. Это уж, как всегда, если нет содержания — на первый план выходит форма. Несоразмерные по росту — один маленький, тощенький, другой — высокий, упитанный, один семенит ножками, другой широко вышагивает, как гренадер, у одного голос преднамеренно писклявый, почти девчоночий, у другого — густой бас, иерихонская труба, один — холерик, вечно в движении, другой — флегматик, полусонный

при любых обстоятельствах... Эта несуразина и веселила. Классно получалось у Алика и Сани исполнение куплетов Курочкина из нашумевшего тогда фильма «Свадьба с приданым».

Хвастать, милая, не стану.  
Знаю сам, что говорю:  
С неба звездочку достану...

(Привставая на цыпочки, Сашка тянулся к едва-едва блымяющей над сценой лампочке), —

И на память подарю.

(Жеманно поджав губки, «милая» благосклонно принимала от ухажера в подарок «звездочку» — все ту же слабо прикрученную лампочку на 60 ватт...) И оба — молодые, красивые, тыча друг в друга пальцами, исполняли финал:

Из-за вас, моя черешня,  
Ссорюсь я с приятелем,  
До чего же климат здешний...

(Как бы принохиваясь, неодобрительно вертел «кирпатым» — задранным к небу — носом Алик):

На любовь влиятелен!..

Алика первая жена — смешливая красавица студентка Евгения и влюбилась-то в него, слушая те куплеты. И с удовольствием присоединялась третьей, когда после концерта, обшарив все карманы, Алик и Сашка набирали два рубля ноль две копейки мелочью и отправляли меня, быстрогого, за бутылкой «задурына», «бухарыча», «крепленыча», — уж как только они не выделявались, переиначивая название дешевого азербайджанского вина на 18 оборотов «Агдам». Доступного по цене всем слоям населения. Вдобавок к «Как Дамычу». Женя отсыпала мне в ладошку свои 14 копеек на плавленный сырок «Дружба» или 16 — на такую же плавленную «Орбиту» и еще шесть копеек — на французскую булочку. Юноши могли довольствоваться на закуску одной сигаретой на двоих, девушке все же требовалось нечто более существенное...

А отпускал незатейливый товар в отделе «Бакалея и гастрономия» уже знакомый нам... дядя Нема. Да, тот самый Наум Львович, который, перебравшись с морозного Урала (по состоянию здоровья тети Авы) в родные теплые места, принял с ней на пару маленький магазинчик «Продовольственные товары». Заслуженному орденосцу и опытному товароведу (оба с высшим специальным образованием, к тому же члены КПСС с многолетним стажем) местная власть разве могла отказать? Это было бы контрреволюцией!

Особого наплыва покупателей в их неказистый магазинчик, стоящий на углу Институтского переулка, не наблюдалось, что было плоховато для показателей товарооборота, но очень хорошо для любителя тишины и покоя, всегда глубоко мыслящего Наума Львовича. Сангвиника. Флегматика. Меланхолика. Да обыжайте вы, как хотите. А он такой. Его не переделаешь.

Нема вздергивал на лоб персонально изготовленные очки с сильными увеличительными линзами. Плюхался в предусмотрительно поставленное за прилавком бежевое кресло с протертыми подлокотниками. И начинал сидеть. Просто сидеть, поигрывая шлейками. Телевизора тогда в широком доступе не было. Репродуктор в магазине был. Но философам, кроме самих себя, никто ведь не нужен и ничто не нужно, это вполне самодостаточные люди, твердо знающие, чего хотят.

По воскресеньям — в единственный выходной для всех, кроме работников торговли, транспортников и тружеников непрерывного процесса — из конусообраз-

ной тарелки с шильдиком на обороте «Ленинградский радиозавод имени С.М. Кирова» звучали знакомые позывные концерта по заявкам радиослушателей. И эфир... хотя, нет, тогда еще проводное было радиовещание, значит, не эфир, а слаботочные провода радостно дарили бархатный голос конференсье — не Алика, не Сашки, а знаменитого на весь СССР Михаила Гаркави...

— Добрый вечер! Здравствуйте! Начинаем наш концерт!

Гаркави умело выдерживал короткую паузу, сопровождаемую записью бурных рукоплесканий от Волги до Енисея. Потом раздражался якобы экспромтом — заранее подготовленной юмореской или фельетоном на бессмертные темы. Вновь тянул мхатовскую паузу. И, наконец, чарующим баритоном извещал:

— По просьбе коллектива коммунистического труда — шахтеров из Тульского угольного разреза «Первомайский» — передаем любимую песню передовиков социалистического соревнования «Очень часто в жизни так случается». Слова Наума Лабковского. Музыка Соловьева-Седого. Исполняет народный артист РСФСР Марк Бернес.

И народ замирал в ожидании выхода в эфир (пусть уж будет эфир) любимого шансонье. Кумира миллионов по картине «Два бойца», непревзойденного исполнителя хитов на все времена «Шаланды полные кефали», «Темная ночь», «Журавли», «Прасковья»...

Вот тоже: рос себе в захолустном Нежине, что на Черниговщине, мальчик из бедной семьи Менахем — Ман — Неухович Нейман. Кто бы его знал? Но захотел юноша во что бы то ни стало достичь больших высот. Одному Богу известно, как он бился с судьбой и обстоятельствами, но сумел все превозмочь и стать знаменитым больше чем на весь СССР Марком Бернесом. Первоклассным деятелем искусств, лауреатом высшей в то время награды — Сталинской премии, заслуженным, народным...

Отсюда вывод: если ты настоящий мужик, будь как японский самурай, как самолет на боевом курсе, для которого нет преград, когда он выходит на цель. В лепешку расшибись, а вершину одолей! Чаще всего об этом и пел очень придиричивый к каждому слову отдельной песни и в целом выбору репертуара мужественный или, как сегодня бы сказали, брутальный мачо — Марк Бернес. (Которого по доверительному признанию бессмертного Иосифа Кобзона друзья за глаза называли не Марк Наумович, а Марк Себенаумович).

В жизни очень часто так случается,  
По весне, когда растает снег,  
На пути на жизненном встречается  
С человеком человек...  
Он хорошим парнем называется,  
Ей такого не сыскать век,  
Почему смущенно улыбается  
Человеку человек?

\* \* \*

Пришли другие времена. Звучат иные имена. Самопровозглашенными королями и королевами эстрады поются новые удивительные песни. Например, вот эта: «Цвет настроения синий» (как нос у алкаша?). Или: «Снова курю, мама, снова» (радуйся такой дочери, дорогая мама). Но песни, ладно, глупые отомрут, а хорошим, добрым и человечным песням суждена долгая счастливая жизнь. Жаль другого: хорошие профессии умирают. И в их числе, ни в чем, ни перед кем не повинная профессия, обозначаемая легко прижившимся французским словом — конференсье.

Нет в нашем искусстве больше потребности в авторах реприз, режиссерах-постановщиках и, главное, мастерах-исполнителях шуточных и серьезных концертных вставок — таких, как Борис Брунов, Михаил Гаркави, Лев Шимелов (кривлянье подражающих друг другу «петросянчиков» не в счет)... Остались лишь глашатаи — ведущие, способные громко, выразительно, почти не ошибаясь, объявлять имена и фамилии очередного выступающего.

Мне жаль. Слово что-то личное отщипнула от души новая монолитная эпоха, сменившая «век-володав». Но с этим уже ничего, видимо, не поделаешь. Как и с преждевременным уходом из жизни многих и многих детей войны. В том числе — моего брата. Мальчишки из поколения недоедавших. Голодавших и холодавших. В чем-то отторгнутых и не признанных. Рано — не по возрасту и силам — впрягшихся в рабочую тележку.

Что же. Простите и... прощайте, мсье-конферансье...

